



УИЛЬЯМ

ГОЛДИНГ

ШПИЛЬ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Уильям Голдинг

Шпиль

Серия «Зарубежная классика (АСТ)»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=119030

Уильям Голдинг. Шпиль: АСТ, АСТ Москва; Москва; 2017

ISBN 978-5-17-084905-5

Оригинал: WilliamGolding, "THE SPIRE"

Перевод:

Виктор Александрович Хинкис

Аннотация

Перед вами – ЖЕМЧУЖИНА творческого наследия Уильяма Голдинга.

«Шпиль». Исторический роман – и философская притча, исследующая мельчайшие и темнейшие лабиринты души, одержимой «жаждой созидания»...

Содержание

Глава первая	5
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Уильям Голдинг

Шпиль

Посвящается Джуду

©William Golding, 1964

© Перевод. В. Хинкис, 1968

© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

Глава первая

Он смеялся, вздернув подбородок и покачивая головой. Бог-Отец озарял его сиянием славы, и солнечные лучи устремлялись сквозь витраж вслед его движениям, животворя осиянные лики Авраама, Исаака и снова Бога-Отца. От смеха у него выступили слезы, и перед глазами множились радужные круги, спицы, арки.

Вздернув подбородок и сощурясь, он крепко, в обеих руках, держал перед собой макет шпиля – о радость...

– Полжизни ждал я этого дня!

Перед ним, по другую сторону столика с макетом собора, стоял канцелярий, его бледное старческое лицо было в тени.

– Не знаю, что вам сказать, милорд настоятель, право, не знаю.

Он не сводил глаз со шпиля, который Джослин так крепко держал в обеих руках. Голос его, тонкий, словно писк летучей мыши, терялся в просторной, высокой зале капитула.

– Ведь если представить себе, что эта деревянная поделка... сколько в ней длины?

– Восемнадцать дюймов, милорд канцелярий.

– Восемнадцать дюймов. Да. Именно. А в действительности, сколько мне известно, это будет сооружение из дерева, камня и металла...

– В четыреста футов высотой.

Канцелярий, прижимая руки к груди, вышел на солнце и огляделся вокруг, словно искал чего-то. Потом он взглянул на потолок. Джослин смотрел на него, повернув голову, исполненный любви.

– Я знаю. Фундамент. Но будем уповать на Бога.

Канцелярий наконец нашел то, чего искал, – он вспомнил:

– Ах да...

И старчески хлопотливо зашаркал по каменному полу к двери. Он вышел, а в воздухе осталась весть.

– Ну конечно. Утренняя.

Не двигаясь с места, Джослин послал ему вслед стрелу своей любви. «Здесь мой дом, мой кров, моя семья. Вот сейчас он выйдет из ризницы последним и повернет налево, как всегда; а потом спохватится и повернет направо, к капелле Пресвятой Девы!» Джослин снова засмеялся и вздернул подбородок в блаженном ликовании. «Я знаю их всех, знаю, что они делают сейчас, и что уже сделали, и что будут делать. За все эти годы, пока я шел своим путем, собор стал моей плотью».

Он оборвал смех и вытер глаза. Потом снова взял белый шпиль и незыблемо утвердил его в квадратном отверстии, прорезанном в старом макете собора.

– Вот так.

Макет был подобен человеку, лежащему на спине. Неф –

его сомкнутые ноги, трансепты по обе стороны – раскинутые руки, хор – туловище, а капелла Пресвятой Девы, где отныне будут совершаться богослужения, – голова. И вот теперь вознесся, устремился, воздвигся, извергся из самого сердца храма его венец и величие – новый шпиль. «Они не знают, – подумал он, – не могут знать, пока я не поведаю им о своем видении!» Он снова засмеялся от радости и вышел из залы капитула на широкий, залитый солнцем двор, очерченный аркадами. «Но я должен помнить, что шпиль – это не все! Я должен, сколько достанет сил, продолжать каждодневные свои труды».

Он обошел аркады, раздвигая занавеси, и остановился у боковой двери. Медленно, бесшумно откинул щеколду. Входя, он склонил голову и сказал, как всегда, в сердце своем: «Поднимите, врата, верхи ваши!» Но, войдя, он сразу понял, что его предосторожность была излишней, потому что в соборе уже стоял нестройный шум. Утреню служили в отдалении, звуки были такие крошечные, ничтожные, что казалось, их можно собрать в горсть, и тем не менее они доносились сюда через весь собор, из капеллы Пресвятой Девы, сквозь дощатую стенку, обитую холстом. Другие звуки, более близкие, хотя они, отдаваясь эхом, и слились в сплошной гул, говорили о том, что здесь люди долбят землю и камень. Эти люди переговаривались, распоряжались, покрикивали, волокли по каменному полу бревна, катили и роняли тяжести, небрежно швыряли их, дотащив до места, и все это по-

родило бы крикливую разноголосицу, как на ярмарке, если бы эхо не подхватывало звуки снова и снова, заставляя их кружить по собору, достигать самих себя и тонкоголосое пение хора и звучать бесконечно, на одной ноте. Все это было так непривычно, что он поспешно прошел в главный неф и преклонил колени пред невидимым отсюда престолом; потом поднялся с колен и стал смотреть.

Мгновение он моргал. Такого яркого солнца ему еще не доводилось здесь видеть. Всего осязаемей в нефе была не дощатая, обитая холстом стенка, которая делила собор надвое, не два ряда арок, не часовни и не расписные надгробия меж ними. Осязаемей всего был свет. Он врывался в южные окна, высекая из стекол каскады цветных искр, и устремлял свои лучи правильным строем справа налево, к основанию опор по другую сторону нефа. И повсюду пыль придавала ветвям и стволам света подлинную объемность. Он снова моргнул и увидел, как совсем рядом пылинки то кружатся одна вокруг другой, то разом взмывают вверх, как мотыльки под дыханием ветра. Он видел, как в отдалении они плавали облаками, завивались спиралью или на миг повисали недвижно, и тогда самые дальние ветки и стволы становились цветом, только цветом – медовой желтизною, исполосовавшей тело собора. Там, где окна южного трансепта освещали средокрестие с высоты ста пятидесяти футов, мед сгущался в колонну, и она высилась, прямая, как Авелев столп, над людьми, которые ломали и выворачивали каменные плиты пола.

Он покачал головой в печальном изумлении перед осязаемым солнечным светом. «Если б не этот Авелев столп, – подумал он, – я принял бы косую стену света за настоящую и решил бы, что мой каменный корабль сел на мель и накренился». И его губы дрогнули в улыбке: подумать только, человеческий ум повсюду открывает законы и вместе с тем обманывается легко, как младенец. «Теперь, когда на боковых алтарях не горят свечи, если стоять лицом к дощатой перегородке в дальнем конце нефа, может показаться, что это языческий храм, а вон те двое с ломami, что работают посредине, в солнечной пыли (когда они выворачивают каменную плиту и бросают ее, раздается грохот, как в каменоломне, и будит эхо), – жрецы, свершающие какой-то неведомый обряд... Господи, прости.

Вот уже полтора года лет мы непрестанно ткем в этих стенах великолепный узор хвалы Господу. Все останется, как было, только узор будет еще богаче, великолепнее, обретет наконец совершенство. А сейчас я встану на молитву».

Но он понимал, что еще повременит с молитвой, даже в сей день радости. Он громко смеялся от радости и знал, почему повременит, – знал всегдашний устав дня, знал, кто сейчас на охоте, кто произносит проповедь, кто кого замещает, знал, как надежен каменный корабль и его команда.

И словно эта мысль возвестила о начале короткой интермедии, он услышал, как стукнула щеколда и боковая дверь со скрипом отворилась. «Сейчас, как и всякий день, я увижу

свою дочь во Христе».

И в самом деле, едва он вспомнил о ней, она быстро вошла, словно спеша на его зов, а он уже ждал, готовясь благословить ее, как благословлял всегда. Но жена Пэнголла, заклонясь ладонью от пыли, свернула налево. На миг мелькнуло ее узкое нежное лицо, и она, вместо того чтобы пересечь собор, пошла по северному нефу; ему оставалось лишь мысленно послать благословение ей вслед. Он провожал ее взглядом, слегка разочарованным и полным любви, а она, проходя мимо темных алтарей, откинула капюшон, под которым был белый платок, и из-под серого плаща на миг мелькнуло зеленое платье. «Вот женщина до мозга костей, – подумал он, исполненный любви к ней. – Отсюда ее безрассудное детское любопытство. Впрочем, это забота Пэнголла или отца Ансельма». И он увидел, как она, словно осознав свое безрассудство, быстро обошла яму, прикрываясь рукой от пыли, пересекла неф и захлопнула за собой дверь Пэнголлова царства. Он рассудительно кивнул.

– Пожалуй, кое-что у нас теперь все-таки переменится.

Когда дверь захлопнулась, стало почти тихо; а потом в тишине раздались новые негромкие звуки: «тук, тук, тук». Он повернул голову влево – там, на цоколе колонны, сидел немой в кожаном фартуке, зажав большой камень между коленями.

«Тук, тук, тук».

– А знаешь, Гилберт, он, кажется, велел тебе ваять с меня,

потому что я подолгу стою на месте!

Немой поспешно вскочил. Джослин улыбнулся ему.

– Можно подумать, что от меня здесь меньше всех проку, как по-твоему?

Немой улыбнулся преданной, собачьей улыбкой и замычал пустым ртом. Джослин радостно засмеялся в ответ и кивнул, словно их связывала какая-то тайна.

– Спроси эти четыре опоры на средокрестии, есть ли от них прок!

Немой засмеялся и кивнул.

– Скоро я встану на молитву. Можешь пойти со мной, будешь сидеть смиренно и работать. Но захвати подстилку, чтобы не насорить, а то Пэнголл выметет тебя из капеллы Пресвятой Девы, как сухой листок. Не надо сердить Пэнголла.

Тут раздался новый шум. Джослин сразу забыл про него, повернул голову, прислушался. «Нет, – сказал он себе, – не может быть, им не успеть так быстро!» И он поспешил в южный неф, откуда можно было через средокрестие заглянуть в северный трансепт. Возле часовни Пиверела он остановился. И прошептал, исполненный радости, которая была слишком глубока, чтобы выносить ее из храма:

– Нет, это правда. После стольких лет неустанных трудов. Слава Господу.

Ибо совершалось невероятное. «Ведь я проходил здесь столько лет изо дня в день, – подумал он. – И всегда то, что снаружи, было отделено от того, что внутри, так же четко, так

же вечно и непреложно, как вчерашний день от сегодняшнего. Внутри – гладкий, расписной камень, снаружи – грубые, обросшие лишайником стены. Вчера, да нет, сегодня, только что между ними была неодолимая преграда. А теперь там сквозит воздух. Разобщенные части соприкоснулись, и я, как в замочную скважину, вижу угол дома канцелярия, где, быть может, сейчас ждет Айво.

Мужайся. Слава Господу. Это начало свершения. Одно дело велеть вырыть яму меж опорами, словно могилу для какого-нибудь именитого горожанина. А это совсем иное. Теперь я поднял руку на самое тело своего храма. Как хирург, я поднес нож к животу, бесчувственному от макового отвара...»

Он пытался представить себе это, и негромкие звуки утрани казались ему слабым дыханием бесчувственного тела, распростертого на спине.

По другую сторону часовни раздались молодые голоса.

– Что ни говори, он обуян гордыней!

– И погрязает в невежестве.

– Знаешь, он возомнил себя святым! Это он-то – святой!

Но, увидев в полумраке настоятеля, оба дьякона упали на колени.

Он смотрел на них сверху вниз и любил их в своей радости.

– Вот как, дети мои! Что же это? Вы злословите? Сплетничаете? Клевещете?

Потупившись, они молчали.

– Кто же этот несчастный? Вы бы лучше помолились за него. Ну-ка, ну-ка.

Он обеими руками ухватил их за кудрявые волосы и ласково обратился к себе сначала одно бледное лицо, потом другое.

– Попросите канцелярия наложить на вас епитимью. Воспримите епитимью как должное, дети мои, и она даст вам великую радость.

Он отвернулся и хотел пройти дальше по нефу, но ему снова помешали. У временной дверцы, которая была сделана в дощатой перегородке и вела из южной галереи к средокрестию, стоял Пэнголл; он увидел Джослина, отпустил своих помощников и заковылял к нему с метлой на весу, прихрамывая, слегка волоча левую ногу.

– Преподобный отец...

– Мне сейчас некогда, Пэнголл.

– Сделайте милость!

Джослин покачал головой и хотел обойти его, но Пэнголл протянул загорбелую руку, словно в своей дерзости готов был коснуться рясы настоятеля. Джослин остановился и, опустив глаза, быстро проговорил:

– Ну, что тебе? Опять все то же?

– Они...

– До них тебе нет дела. Пойми это раз и навсегда.

Но Пэнголл не отступал, пристально глядя на Джослина

из-под копны темных волос. Его бурая одежда была в пыли, пыль покрывала перевязанные крест-накрест икры и стоптанную обувь. Сердитое лицо тоже было в пыли. И голос у него был хриплый от пыли и злости.

– Позавчера они убили человека.

– Я знаю. Но послушай, сын мой...

Пэнголл покачал головой так торжественно и убежденно, что Джослин умолк, потупившись и приоткрыв рот. Пэнголл поставил метлу на пол и оперся на нее. Он обвел взглядом каменные плиты, потом посмотрел настоятелю в лицо.

– Когда-нибудь они убьют и меня.

Теперь они оба молчали, а шум работы не затихал, и ему вторило звонкое эхо. Пылинки плясали между ними в солнечном свете. И Джослин вдруг вспомнил о своей радости. Он положил обе руки на кожаные плечи Пэнголла и крепко сжал их.

– Не убьют. Никто тебя не убьет.

– Ну, так выживут отсюда.

– Никто не причинит тебе вреда. Истинно говорю тебе.

Пэнголл яростно сжал метлу. Он выпрямился. Губы его кривились.

– Преподобный отец, зачем вы это сделали? Джослин смиренно снял руки с его плеч и сложил их на груди.

– Ты знаешь это не хуже меня, сын мой. Дабы приумножить славу храма сего.

Пэнголл ощерился:

– И для этого надо его разрушить?

– Остановись, пока ты не сказал лишнего. Но Пэнголл не отступался, и в словах его прозвучал вызов:

– Вы когда-нибудь оставались здесь на ночь, преподобный отец?

Он ответил ласково, как ребенку:

– Много раз. И это ты тоже знаешь не хуже меня, сын мой.

– Когда падает снег и ложится тяжестью на свинцовую крышу, когда листья забивают водостоки...

– Пэнголл!

– Мой прапрадед был среди тех, кто строил этот собор. В жаркие дни он ходил вон там, над сводом, так же, как теперь хожу я. А зачем?

– Успокойся, Пэнголл, успокойся.

– Зачем? Зачем?

– Ну, я слушаю.

– Как-то он увидел, что одно дубовое стропило занялось. По счастью, он прихватил с собой тесло. За водою ему было не поспеть: загорелась бы крыша, и свинец потек бы рекой. Он стал рубить стропило. Вырубил такую дыру, что влез бы ребенок, а угли унес голыми руками, и ладони у него поджарились, как свинина на вертеле. Вы это знали?

– Нет.

– А я знаю. Мы знаем. Все это... – Он ткнул метлой в грудь хлама и пыли. – Взломанный пол, яма... позвольте, я сведу вас на крышу.

– У меня есть другие дела, и у тебя тоже.

– Мне надо с вами поговорить...

– Но разве ты не говоришь со мной?

Пэнголл отступил на шаг. Он взглянул на опоры и высокие, сверкающие окна, словно они могли ему что-то подсказать.

– Преподобный отец. На крыше... у самой двери над лестницей в юго-западной башенке лежит наготове тесло, наточенное и смазанное, чтоб не ржавело.

– Это хорошо. Ты предусмотрителен.

Пэнголл взмахнул свободной рукой.

– Пустяки. Для этого мы и существуем. Мы подметали, вытирали пыль, штукатурили стены, тесали камень, иногда резали стекло, и мы молчали...

– Все вы верно служили храму. Я тоже делаю все, что в моих силах.

– Мой отец и дед... И тем более я, потому что я последний.

– Она праведная женщина и верная жена, сын мой. Надейся и уповай на Господа.

– Они играют моей жизнью себе на забаву. Но им и этого мало. Это еще не все... Пойдемте, я вам покажу мой дом.

– Я его видел.

– Нет, вы поглядите, что с ним сделали за эти недели. Пойдемте, пойдемте же. – И Пэнголл, маня его одной рукой, а другой волоча за собой метлу, торопливо захромал в южный

трансепт. – Это был наш дом. А что теперь с нами станется? Смотрите!

Он указал через низкую дверку на двор, лежавший меж крытыми аркадами и стеной собора. Чтобы выглянуть, Джослину пришлось нагнуть голову покрытую скуфьей. Он стоял у двери рядом с Пэнголлом и, увидев, что творится во дворе, изумился. Весь двор был завален грудями обтесанных камней. Они громоздились меж контрфорсами до самых окон. Все свободное от камня пространство было занято бревнами – оставалась лишь узенькая дорожка. Слева от двери, у стены, стоял верстак под тростниковым навесом. Там были сложены стекла и свинцовые пластины, и двое подручных главного мастера работали: «треньк, треньк».

– Видите, отец мой? Я еле пробираюсь к собственной двери!

Джослин боком протиснулся вслед за ним меж кучами.

– Вот все, что они мне оставили. И когда это кончится, отец мой?

Свободное место перед домиком было не более часовни, а у самой его стены растеклись вонючие лужи. Джослин с любопытством посмотрел на домик, потому что никогда еще не бывал подле него так близко. Прежде, обходя храм, он лишь бросал через дверь благосклонный взгляд во двор, и этого было достаточно; что ни говори, а двор и домик, хоть и принадлежали собору, были царством Пэнголла. Каждое утро тень домика ложилась на юго-восточное окно, подоб-

но памятнику, выросшему вопреки воле строителя. А теперь сам домик был перед глазами Джослина, и снова то, что снаружи, соприкасалось с тем, что внутри. Домик прилепился к углу собора, словно выступ под карнизом старинного дома, где бесчисленные поколения ласточек и воробьев оставили свои следы и скелеты гнезд. Он притаился, смиренный и в то же время дерзостный; он был построен здесь без разрешения, и его молчаливо терпели, будто не замечая, потому что семья, которая жила в нем, была незаменима. Он закрывал контрфорс и половину окна. На стены его пошли каменные плиты, такие же серые и древние, как сам собор. В одном месте нелепо торчал надоконный желоб, хотя окна не было. С камнем соседствовали старые брусья, некогда обитые дранкой и оштукатуренные. А кое-где виднелись плоские тисненные кирпичи, гораздо древнее домика, да и собора, попавшие сюда из давно заброшенной гавани, на берег которой вот уже тысячу лет не ступала нога римлянина. Один скат кровли был из настоящего свинца, другой – из аспидных плиток, точно таких же, какими крыта кухня у викариальных певчих. Потом шла полоса тростника, но он стал таким трухлявым, что съежился и пророс травой. Одно окно было нарочно подогнано под квадрат великолепного цветного стекла; другое было узкое, забранное роговыми пластинками вместо стекол. За какие-нибудь полтора столетия это нелепое строение приобрело почтенный и дряхлый облик. Домик весь съежился, как тростник на крыше, его чужерод-

ные части словно бы притерлись друг к друг, обрели вечный покой.

Джослин посмотрел на домик, покосился на кучи камней и бревен, обступивших его со всех сторон, – одна дерзость теснила другую.

– Вижу.

Едва он сказал это, в домике раздалось нежное пение. Гуди вышла из двери, увидела его, оборвала свою песенку, улыбнулась, посмотрела на него искоса и опростала деревянное ведро у стены собора. Она ушла в дом, и оттуда снова слышалось ее пение.

– Так вот, Пэнголл. Сейчас я отвечу тебе. Мы с тобой старые друзья, несмотря на разницу в положении, поэтому давай смотреть на вещи разумно. Они будут строить – тут и говорить не о чем. Скажи мне лучше, что тревожит тебя на самом деле.

Пэнголл поспешно отвернулся и поглядел на мастеровых, которые, насвистывая, резали стекло. Джослин наклонился к нему.

– Ты тревожишься за жену? Они работают слишком близко от нее?

– Нет, не в том дело.

Джослин подумал и понимающе кивнул. Потом продолжал мягко:

– Они смотрят на нее, как мужчины иной раз смотрят на улице вслед женщинам? Отпускают шуточки? Говорят

непристойности?

– Нет.

– Так что же?

В лице Пэнголла не было злобы. Только растерянность и мольба.

– Уж если хотите знать, я скажу. Зачем они привязались ко мне? Один я здесь, что ли? Зачем они потешаются надо мной?

– Надо терпеть.

– Каждую минуту... Что бы я ни делал. Хохочут, орут. А стоит мне оглянуться...

– Сын мой, ты слишком обидчив. Надо смириться.

Пэнголл поднял к нему лицо.

– Но до каких же пор?

– Это тяжкое испытание для всех нас. Я знаю. Оно продлится два года.

Пэнголл со стоном закрыл глаза.

– Два года!

Джослин положил руку ему на плечо.

– Подумай сам, сын мой. Камни и бревна постепенно поднимутся вверх. У тебя под носом не вечно будут бить стекло. Возведут шпиль, и наш храм станет еще прекрасней.

– Я не увижу этого, преподобный отец.

– Но почему, скажи мне ради...

Он замолчал, подавляя в себе внезапную досаду, но, когда он взглянул сторожу в глаза, досада столь же внезапно

вспыхнула вновь. Он читал мысли Пэнголла так ясно, словно они были написаны у него на лбу: *«Потому что под собором нет фундамента и Джослиново безумство рухнет, прежде чем на вершукше утвердят крест»*. Он сжал зубы.

– Ты не лучше остальных. И не похож на своего прапрадеда. У тебя нет веры.

Но Пэнголл смотрел в землю. Он приблизился, наступая на тень Джослина. Его грязные, бурые, цвета навоза, волосы были на шесть дюймов ниже лица настоятеля и почти касались его ресы. Джослин, охваченный досадой, уловил чуть слышный хриплый шепот:

– Как мне это вынести? Я все время опасаюсь, отовсюду жду подвоха. Мне стыдно перед собственной женой. Все это копится вот здесь, внутри, и с каждым днем, с каждым часом...

Что-то отрывисто стукнуло по башмаку Джослина; он взглянул, увидел влажную звездочку с тонкими лучиками и крошечные капли воды, которые скатывались в грязь по смазанной жиром коже. Он нетерпеливо вздохнул, не зная, что сказать. Но солнце, игравшее на камне, увлекло его взгляд вверх, в пустоту над средокрестием, где каменные зубцы ожидали главного мастера и его подручных. Он вспомнил о рабочих, которые взламывали пол меж опор, и радостное волнение вернулось, заглушая досаду.

– Я же сказал, надо терпеть! А я поговорю с мастером, обещаю тебе.

Он потрепал сторожа по кожаному плечу и быстро ушел, боком протискиваясь меж груд дерева и камня. Мастерские у верстака стояли к нему спиной. Он нырнул в дверку и по-медлил немного в трансепте, жмурясь в пыльном сиянии. Он увидел, что каменные плиты уже сложены сбоку, у опор, и оба землекопа стоят по щиколотку ниже пола. Сквозь пролом в стене позади них было видно далеко, и он заметил среди могил, под тростниковым навесом, кучу бревен. Он стоял, сморщив в улыбке нос и вскинув голову, а через неф к нему спешил священник – отец Адам с письмом в руке; Джослин отмахнулся от него:

– Потом, любезный. Сейчас я должен встать на молитву.

Окрыленный своей радостью, он с улыбкой быстро прошел по галерее между хором и ризницей. Служба кончилась, и там не было никого, кроме двух викариальных певчих, которые разговаривали, стоя у внутренней двери. Посреди капеллы Пресвятой Девы для него уже поставили скамеечку с пюпитром. Он склонился пред алтарем, потом встал на колени. Слышно было, как где-то совсем рядом немой принялся осторожно постукивать и скрести по камню. Но ему не пришлось отгонять от себя эти негромкие звуки, потому что радость была его молитвою, изливавшейся из самого сердца.

«Что еще могу я сделать в этот величайший из дней, когда мое видение начало наконец воплощаться в камень, как не вознести благодарение Богу?»

А посему, вкупе с ангелами и архангелами...»

Радость, как солнце, озарила его слова. И они воспылали.

Его колени безошибочно отмеряли время. Он всегда чувствовал, сколько простоял коленопреклоненный. Сейчас, когда вместо тупой боли наступила онемелость, он знал, что минуло более часа. Он пришел в себя, и, пока огни медленно плыли перед его закрытыми глазами, он почувствовал, как боль снова вливается в его икры, колени, бедра. «Моя молитва никогда еще не была столь простой, поэтому она и длилась так долго».

И вдруг Джослин почувствовал, что он не один. Нет, он никого не увидел и не услышал. Это было лишь ощущение, как ощущают тепло огня за спиной, – сильное и в то же время нежное неведомое присутствие было таким близким, что, казалось, проникло в самый его хребет.

Джослин склонил голову в ужасе, едва дыша. Он не противился. «Я здесь, – словно бы вещал неведомый, – не двигайся, мы здесь и пребудем вместе вовеки».

И тогда он осмелился подумать, чувствуя тепло за спиной: «Это мой ангел-хранитель.

Я творю волю Твою, и Ты послал вестника Твоего, дабы утешить меня. Как некогда в пустыне.

Двумя крылами закрывал он лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал».

Радость, огонь, радость.

«Господи, благодарю Тебя, что Ты дал мне сохранить

смирение!»

И он снова увидел ряды окон. Житие святого все так же сверкало на них синим, красным и зеленым, но искры и брызги солнца падали теперь по-иному. Он опомнился, глядя на знакомое окно поверх сплетенных пальцев, – ангел покинул его.

«Тук. Тук. Тук».

«Скр-р-р».

«Ты исполнил славою избранных Твоих, подобно солнцу в окне».

Джослин оперся о пюпитр и не без труда разогнул онемевшие ноги. Ковыляя, он сделал несколько шагов и наконец выпрямился. Он оправил на себе рясу, вспомнил про стук и скрежет, повернул голову и увидел немого, который сидел у стены, приоткрыв рот. На полу возле его ног была разостлана ветошь, и он усердно скреб большой камень. Когда тень Джослина упала на него, он вскочил. Это был рослый юноша, он легко держал тяжелый камень двумя руками, прижимая к животу. Радость, утешение, мир, которые принес ангел, осенили и лицо юноши, как все вокруг; Джослин смотрел на него и чувствовал, как на собственном его лице морщины стягиваются в улыбку. Да, этот юноша тоже был высок ростом; ему не приходилось поднимать голову, чтобы заглянуть настоятелю в глаза. В радости, дарованной ангелом, Джослин оглядывал юношу, и все улыбался, и был исполнен любви к нему, к его смуглому лицу и шее, к широкой груди,

где из-под кожаной куртки выбился кустик черных волос, к кудрявой голове, к черным глазам под черными бровями, к смуглым рукам и пятнам пота под мышками, к обмотанным крест-накрест ногам в грубых башмаках, побелевших от пыли.

– Кажется, сегодня я дал тебе довольно времени!

Немой юноша горячо кивал, и из горла его вырывалось мычание. Джослин все улыбался, глядя в его преданные, собачьи глаза. «Он последует за мной всюду. Если б он был главным мастером! Быть может, когда-нибудь...»

– Покажи-ка, сын мой.

Юноша перехватил камень снизу и, повернув его боком, поднял к груди.

Джослин вскинул голову и засмеялся:

– Ну нет, нет! У меня не такой длинный нос! Даже вполвину не такой длинный.

Он взглянул снова и замолчал. Нос как орлиный клюв. Рот широко раскрыт, щеки морщинистые, под скулами глубокие впадины, глаза ввалились; он коснулся угла своего рта, провел пальцами по смеженным складкам плоти. Потом трижды открыл рот, чувствуя, как губы растягиваются, и трижды закрыл его, щелкая зубами.

– Нет, нет, сын мой. И волосы у меня не такие густые!

Немой вытянул свободную руку, быстро согнул ее и повел ладонью в воздухе, подражая полету ласточки.

– Птица? Какая птица? Может быть, орел? Или Святой

Дух?

Рука повторила движение.

– А, понимаю! Ты хочешь передать ощущение полета!

Лицо немого расплылось в улыбке, он едва не уронил камень, но вовремя подхватил его, и над этим камнем слились воедино их души, подобно единению с ангелом, радость...

Теперь оба молча смотрели на камень.

Беспредельная скорость полета ангелов, запечатленная в неподвижности, волосы разметаны, реют, подхваченные веянием духа, рот раскрыт, но не дождевая вода изольется из него, а осанна и аллилуйя.

Джослин вдруг поднял голову и улыбнулся с сожалением.

– А ты не мог бы воплотить мое смирение, изваять ангела?

Мычание, покачивание головы, собачьи, преданные глаза.

– Значит, вот каким я, обращенный в камень, вознесусь на высоту двухсот футов, с четырех сторон башни, и пребуду там с раскрытым ртом, вещающим денно и ночью, вплоть до Судного дня? Поверни-ка лицо ко мне.

Немой повернул камень и послушно держал его перед Джослином. Они долго стояли молча, не шевелясь, и Джослин разглядывал острые, торчащие скулы, раскрытый рот, раздутые ноздри, которые, словно два крыла, рвались унести ввышину длинный нос и широко открытые, слепые глаза.

«Воистину так. В миг видения телесные очи слепы».

– Откуда ты знаешь все это?

Но немой ответил ему безмолвным, как камень, взглядом.

Джослин коротко рассмеялся, похлопал его по смуглой щеке, ущипнул.

– Наверно, твои руки знают, сын мой. В них заключена мудрость. Потому Всевышний и сковал твой язык.

Мычание в горле.

– Ну, ступай. А завтра можешь снова ваять с меня.

Джослин пошел было прочь, но вдруг остановился.

– Отец Адам!

Он поспешил через капеллу Пресвятой Девы к священнику, стоявшему в тени, под самыми окнами.

– Все это время вы ждали?

Тщедушный священник терпеливо стоял, держа в руках письмо, как поднос. Его блеклый голос задрожал в воздухе:

– Я не смел ослушаться, милорд.

– Простите, отец, я виноват перед вами.

Но не успел он произнести это, как другая забота уже вытеснила раскаяние из его головы. Он повернулся и пошел к северной галерее, слыша за спиной стук подбитых гвоздями сандалий.

– Отец Адам. Вы ничего... вы ничего не видели у меня за спиной, когда я стоял, преклонив колена?

Мышиный голос пискнул:

– Нет, милорд.

– А если и видели, я повелеваю вам хранить молчание.

В галерее он остановился. Над головой простирались солнечные ветви и стволы, но священники стояли в тени, у стен-

ки, отделявшей хор от широкой кольцевой галереи. Джослин слышал, как у опор дробили камень, видел пыль, которая плясала даже здесь, за дощатой перегородкой, разве только помедленней. Пляска пылинок увлекла его взгляд вверх, к высокому своду, и он отступил на шаг, чтобы лучше видеть. И тут он почувствовал, что его кованый каблук наступил на мягкие пальцы.

– Отец Адам!

Но священник молчал и не шевелился. Он по-прежнему держал письмо, и лицо его даже не дрогнуло. «Может быть, это потому, – подумал Джослин, – что у него вовсе и нет лица. Он как деревянная кукла, и вместо лица у него гладкая чурка». Джослин со смехом сказал, глядя на его лысину окруженную каемкой жидких волос:

– Простите, отец Адам. О вас так легко забываешь. – И добавил, смеясь от радости и любви: – Я буду звать вас отец Безликий.

Священник по-прежнему молчал.

– Ну ладно. Давайте это противное письмо.

В другом конце храма собирался хор, готовясь к следующему богослужению. Он услышал, как запели псалом. Процессия двинулась; сначала ясней всего звучали детские голоса, потом они притихли, уступив первенство низким голосам викариальных певчих. Но вот притихли и они, из капеллы Пресвятой Девы взмыл одинокий голос: «А-а-а-а» – и, подхваченный эхом, закружился под огромным сводом, насти-

гая сам себя.

– Скажите, отец... Ведь все знают, что по мирским законам она приходится мне теткой?

– Да, милорд.

– Надо всегда быть милосердным – даже к ней, какова бы она ни была теперь... или прежде.

Снова молчание. «Двумя крылами закрывал он ноги свои. Ангел Твой – моя опора. Теперь я могу вынести все».

– Что же говорят люди?

– Но ведь это просто пьяная болтовня, милорд.

– Я хочу знать.

– Люди говорят, что без ее денег вам никогда не построить шпиля.

– Это правда. Что еще?

– Говорят, что даже тот, у кого грехи как багрянец, за деньги будет похоронен у самого престола.

– Так говорят?

Священник все держал письмо в руках, как белый поднос. От письма еще исходил тонкий аромат, забивался в ноздри, словно в галерее, тускло освещенной с севера, вопреки естеству повеяло дыханием весны. И Джослин, несмотря на начало великого свершения и на ангела, снова почувствовал досаду.

– Оно смердит!

Одинокий голос в капелле Пресвятой Девы смолк.

– Читайте вслух!

– «Моему племяннику и...»

– Громче.

(А в капелле Пресвятой Девы опять зазвучал голос, перекрывая эхо: «Верую во единого Бога...»)

– «...духовному отцу Джослину, настоятелю собора Девы Марии».

(А в часовне молодые и старые голоса слились: «...творца небу и земли...»)

– «Это письмо писано по моей просьбе магистром Годфри, поскольку ты, среди своих пастырских трудов и хлопот о шпиле, не читал, как я полагаю, те письма, которые он написал для меня за эти три года. Итак, дорогой племянник, я снова спрашиваю тебя все о том же. Неужели ты не найдешь времени мне ответить? Когда дело касалось денег, все было иначе, тогда ты отвечал не мешкая. Будем говорить начистоту. И ты, и все люди знают, какую жизнь я прожила, и всего лучше это известно мне самой. Но ведь все кончилось с его смертью, которую я назвала бы убийством, мученической кончиной. С тех пор я несу покаяние перед Творцом, который, надеюсь, продлит дни недостойной рабы своей, полные тяжких испытаний во искупление грехов».

(«...при Понтийском Пилате и страдавша...»)

– «Я знаю, ты молчишь, потому что осуждаешь мою сделку с царем земным. Но разве не велит Писание отдавать кесарю кесарево? Я исполняла это в меру сил своих. Я должна бы покоиться в Винчестере, среди королей, он обещал это,

но мне отказано, хотя недалеко то время, когда я смогу лежать только с мертвыми королями».

(«...судить живых и мертвых».)

– «Магистр Годфри хотел вычеркнуть эту фразу, но я воспротивилась. Неужели в твоём соборе все останки столь уж безгрешны? Ты, верно, думаешь, что у меня нет надежды попасть в рай, но я уповаю на лучшее. По южную сторону от хора есть – или, во всяком случае, был до тебя – уголок, который освещает солнце, между каким-то стародавним епископом и часовней Настоятеля. Надеюсь, меня будет видно от престола, и Бог благосклонней тебя взглянет на прегрешения, в которых мне до сих пор так трудно раскаяться до конца».

(«...исповедую единое крещение во оставление грехов...»)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.